

Вақим
Сафонов
3

Вақим Сафронов

**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ**

Вақим Сафронов

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1983

Вадим Сафонов

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ПЕСОК ПОД БОСЫМИ НОГАМИ
Роман

РАССКАЗЫ

ТВОРЦЫ
Литературные
портреты

ВСТУПЛЕНИЕ В МИР
Страницы
воспоминаний



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1983

P2
C22

Оформление художника
Г. Ш и п о в а

© Состав, оформление.
Издательство «Художественная литература», 1983 г.

С $\frac{4702010200-353}{028(01)-83}$ подписное

Песок
под босыми
ногами

РОМАН

ДВЕ ЖИЗНИ ВИТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА

1

КАНУН

Говорят: жизнь коротка, быстролетна. Но, как подумаешь, она долга, очень долга и даже — удивительно звучит — почти бесконечна, если только попробовать окинуть взором несчетность того, что вмещено ею — день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Да еще принять в расчет след, оставленный иной прожитой жизнью, — незамирающий, растущий, ширясь во времени, словно расходящиеся круги, словно свет, кинутый в просторы Вселенной...

И как ни заполнена жизнь своим собственным течением, для чего только, даже вовсе постороннего этому течению, не находится в ней места и досуга!

Вот и для того находится, чтобы оглянуться на саму себя, на свой исток и начало...

Жизнь прожить — не поле перейти.

И впрямь—какая жизненная дорога отложила у крупного конструктора, человека, чье не одно служебное, но, по правде говоря, и внеслужебное заботливо оберегаемое время казалось расписанным по часам, чуть не по минутам!

Поле тут было ни при чем, вовсе не полем шел — на годы всходил, как на ступеньки крутой лестницы; и жизнь дала свой плод.

Работа ежедневно усаживала у «верстака». Так называл сам с собой раскиданные, раскрытые книги, столбцы таблиц, паутину чертежей, глазки тихо зудящих приборов, жадно ждущий чистый лист. И внешне спокойные (никогда не повышал голоса), но накаленные внутренней сдержанной страстью обсуждения, обмен замечаниями, внимательно-кропотливый обзор дел с неукоснительным выполнением решенного. Конечно, непременно вклю-

чался сюда также то скрежещущий, то ровный гул в цеху, опаляющий жар из вдруг растворенной печи, прохватывающий ветерок из цеховых ворот, привычный и милый ему ритм слаженного трудового движения, говор, громкие — сквозь шум — голоса рабочих, бригадиров...

Так пусть же все это «верстак», пусть «прикован», но ведь мог быть притом, когда хотел, подвижным, как и гораздо более молодые, быстрым совсем по-прежнему, чуть не по-мальчишески. Да и седина почти не тронула головы, со склонностью к тучности справился, правда, так и осталась некоторая осанистая монументальность, с этим уж ничего не поделаешь.

Иногда он, впрочем, как говорили о нем, «облекал себя в лед»; кое-кому казался тогда властно-надменным. А в это время всей силой души он думал о том, что предстоит завтра, жил полнотой дня-кануна. «Довлеет дневи» — не к месту применял он дряхлое изречение (помнил он и такие изречения). Суть в том, что каждая новая ступенька была для него, как самая первая, и высилась и громоздилась, будто и не прожито до нее ничего, — он, как к самой первой, примеривался к ней, твердо зная одно: надо ее взять.

И это — счастье. Он был счастливый человек. Если бы подводить итог, он вывел бы именно такой.

Но дело заключалось еще и в том, что сам он, кого в детстве звали Талик, а теперь множество людей и с трибуны конференций, и в министерстве называли Виталием Константиновичем, по имени-отчеству без фамилии, всегда признавая ясность и определенность его мыслей, мнений, предложений, — дело заключалось в том, что сам-то он внутренние все продолжал меняться. «Расти», усмехался он над самим собой. Пожилой человек, он становился новым с каждым годом, с каждой «ступенькой»; некогда Гете гордился своими змеиными линьками.

Не так давно жизнь сильно тряхнула Виталия Константиновича. Пусть он понимал, что почти никто не уберется от этих ухабов жизни. И ничто на свете — ни незыблемость положения, ни расточаемые хвалы, ни лаврами начиненное изголовье — не оберегает от них. Но в память ему врезалось ощущение оглушающего удара («Бык на бойне», — яростно повторял он себе, жалея себя) и бессмысленной несправедливости («Дважды два пять», — повторял он). А потом — долго не утихающая

боль, и опять эта его ярость. И вместе с ней шепоток: «Фиита. Видишь? Уступи, примиришь. Вот и все. И ничего. Учись жить *так*. Сдайся — и ничего».

Как он не любил вспоминать об этом! После (много спустя) он вообще склонен был отрицать значение всей истории. И даже, с каким-то запальчивым перехлестом уже в другую сторону, вздергивал плечами:

— Выеденного яйца не стоило!

А ведь тогда страшнее всего был именно соблазн — уступи, дайся, унижительный шепоток, то, что он тщательнее всего прятал. Ледеяней, чем когда-либо, была его броня — всем напоказ!

Если бы слышали, что он, профессор-доктор, член-корреспондент, скупко роняющий и, очевидно, дорого ценивший свои слова, — что он, оставшись один, начал свистать-высвистывать! «Белая армия, черный барон». И «Дан приказ: ему на запад...». И «Вдали за рекой...». Он насвистывал, напевал песни гражданской войны, комсомолии двадцатых годов. И еще «При лужке, лужке, лужке», и «Ніч яка місячна»...

Собственно, можно было наперед принять во внимание некоторые сопутствующие обстоятельства и, так сказать, наводящие признаки. Но даже на порог сознания он не допустил бы ничего, прямо не касающегося сути *дела*. Предвестия — словечко-то! «Я не Юлий Цезарь, шествующий в сенат в мартовские иды!»

А ведь, если оглянуться, были и осторожно-заботливые полусоветы, роняемые самыми близкими сотрудниками, — правда, изредка, вскользь, без особого нажима: ведь увлечены-то были равно, равно жили тем, что стало общей трудной радостью и гордостью.

Вот, например, вечерний (даже, вернее, ночной) разговор с Викалевичем, конструктором-проектировщиком. Вышли вместе, поздно, пожали друг другу руки, расставаясь.

— М-м,— пожевал губами Викалевич, делая шаг обратно — к собеседнику. — Так я опять насчет радиальных зазоров... Думается, блеснула идея. Только, Виталий Константинович, все-таки я бы... Александр Иванович! — произнес он многозначительно.

— Ну да, и что же? Эскизный прошел без него — какая разница! И ведь как, вы же знаете, — без сучка и задоринки! Так что при чем Порохонцев? Наша одна задача — сроки. Сроки и сроки!

— Поторапливают, — утвердительно кивнул Викалевич.

— Еще бы! Непрерывно напоминают, теребят черт его знает как! — Это прозвучало безо всякого огорчения: превосходно, что теребят! — В частности, и он сам, лично, Александр Иванович. Кстати, вам неизвестно, что там была за штука с этой его затянувшейся поездкой — на заводы Стал-Лавала в Швецию, Швейцарию?

— Ну, у меня свои предположения. Старый человек, больной человек — именно в Швейцарию!

— Не думаю. Непохоже. С этакой удвоенной энергией включился...

— На несколько, я бы сказал, поздней стадии...

— И с какой настойчивостью! Подчеркивая — чтобы быть полностью в курсе.

— Вот это, знаете, и наводит на мысли. Его не объедаешь. В том-то и вопрос.

— Не понимаю. Наоборот — отлично. Высшей степени заинтересованности нельзя не ценить. Уж кого-кого, а его-то за столько лет мы, кажется, успели досконально распознать.

То была иллюзия. Знать настольные для специалистов, переведенные в Европе, в Америке труды по теплотехнике, присмотреться к скрупулезному педантизму экспертиз, ставшему стилем работы всей секции научно-технического совета, свыкнуться с манерой выступлений, где изощренность, даже изысканность перемежались нарочитым просторечием, — еще далеко не значило знать академика Александра Ивановича Порохонцева.

— Откровенно признаюсь — я бы и вовсе не желал, чтобы дальше шло без него. Жду этого дня, как...

— Э! — сморщился и махнул рукой Викалевич. — Не хочу фигурировать в роли дурного пророка, однако не первый год во всем, что исходит *оттуда*, от Александра Ивановича, прослеживаю явственную красную ниточку: чтобы всё по канонам. «Осторожность, осторожность, осторожность, господа!»

— Нет, что-то вы это не для меня, Григорий Захарович. Излишняя нервозность, ей-богу.

Тогда, прочно утвердившись на обочине тротуара, застегнув верхнюю пуговицу пальто — было сыро, холодно, одинокую желтую точку звезды погасили летящие черные лохмы, — Викалевич упомянул кое-что из того, что в техническом проекте можно было счесть «вне канонов»: сверх-

критические, дерзко заданные начальные параметры и сопряженную с этим систему форсированного охлаждения, следовательно, с чрезвычайными требованиями к совершенству необычной формы этих частей и к точности методов обработки, новизне их. Включая, в частности, уже упомянутые радиальные зазоры...

— Я к тому, что нам следовало бы позаботиться не о простом, но об усиленном обосновании каждого элемента. Чтобы комар носу не подточил. Как это: береженого... О тройной, о четверной защите, если позволите прибегнуть к такому фигуральному выражению.

Ничего он не позволил. Не понял или не пожелал понять двоякого смысла фразы — принял сухо и буквально:

— Стеллит. Ставлю стеллитовые накладки входной кромки — вот вам и двойная, и тройная, и сугубая. Или и это сочтете недостаточным. Григорий Захарович?

— Кому вы говорите? Я же, можно считать, сам, собственными руками, эти стеллитовые накладки... Но я прошу, чтобы вы учли: существует стратегия и тактика. Тактика и стратегия! — Он допустил тень улыбки на свое красивое, с крупными чертами, усталое лицо. Но тяжелый портфель оттянул ему левую руку, он переложил его в правую, сделал несколько гимнастических движений пальцами левой, разминая их. — Климат и погода, — по своему обыкновению пояснил он и без того понятное другими словами, ровно ничего не поясняющими, но, как ему казалось, приглашающими улыбнуться и собеседника. — Я бы, словом... не поступаясь ничем существенным — решительно ничем! — навел бы — как это? — косметику. Сделал бы шажок — под причесочку. Вы понимаете меня?

Но вот чему вся долгая жизнь несколько не выучила Виталия Константиновича!

— К каждому ларцу всегда найдется свой ключик — имейте в виду! — добавил еще одно туманное пояснение Викалевич.

— Григорий Захарович, опять это ваше пристрастие к подобным... притчам. Черестур засиделись сегодня — вот в чем штука! А если по существу — тут же у нас дважды два, вам это столь же ясно, как и мне. Как и всякому: никому не дозволено пренебрегать арифметикой. Не отступим, никаких шажков и косметик. Единожды солгавши — помните? Для меня это значило бы — насмарку все, чем занимались эти два года. Именно все! Так вос-

питывали в детстве, и, видите, надолго хватило. Выйдет — даром хлеб ели: стыдно! И каким образом, откройте на милость, я добьюсь, при малейшем комканье схемы, вот этого нашего с вами соотношения номинальной, эффективной и экономической мощностей? Ложь, как прикрытие правды, а? Нет! Еще будь я один. Или пусть хоть вдвоем мы с вами, — чуть-чуть уступил он, только чтобы прервать это стояние под дождем, уже сеющим с низкого, лежащего на крыши, багрово озаряемого огнями города неба. — Выкиньте вы долой, послушайте меня, всю подобную дребедень... Отдых — и в постель! Пересборщили. Сон — великая сила! До завтра.

Наверно, следовало еще передать привет Софье Ефимовне, хлопотливой, заботливой, вечно обеспокоенной и недомогающей жене Викалевича: Виталий Константинович упустил это.

И потому, что он резко, нетерпеливо отстранял все, отвлекающее от *дела*, часто говоря «я», давно не считал его лишь одним личным, собственным, а в равной мере — и Викалевича, и ответственного за рабочую часть агрегата Малых, и Шахлина с его ждущими своей очереди ребятами-монтажниками, и сотен неизвестных на заводах и в лабораториях, где уже думали над рецентурой специальных сталей, были готовы к конструированию станков для особо ответственных деталей, — по всему по этому он и отдаленно не представлял себе, чтобы такой широкий, не зависимый больше ни от чьей единичной воли, вовлекающий в свою орбиту множество разных людей ход мог быть внезапно задержан, приостановлен.

Месяц за месяцем были слиты для него в одно, в некий монолит времени главенствующим стремлением напрячь в себе все, на что способен. Семь раз отмерь — без послаблений к себе и к другим. Поиски, поправки в непрерывной борьбе за предельную точность — и попробуй выдели, где твое, а где не твое!

Можно было бы едва ли не геометрическим чертежом показать, что в его мозгу не оставалось, физически не оставалось места, чтобы вклинить туда какую-то тревогу. Таков он был — к добру или к худу.

Прибавлялось еще страстное внутреннее ожидание момента, когда будет дано «добро» — ожидание *дня рож-*

дения (и самому себе — не то что произнести вслух — не признался бы в таком словце!).

Вот почему человек иного склада без сомнения отнесся бы проще и к тому, что произошло, во всяком случае — не принял бы за дважды два — пять.

2

ПАНЕЛИ СВЕТЛОГО ДУБА

Собралось с полсотни приглашенных. Просторный, обшитый светлыми дубовыми панелями зал выглядел все же пустоватым, за Т-образным, крытым зеленым сукном столом оставались и свободные места — человек пятнадцать-двадцать устроились поближе к окнам, высоким, с чистейшими стеклами, через которые падали косые столбы позднего осеннего неяркого света. Несколько пришедших, тех, у окон, он не знал — представители других узких специальностей, ведомственные работники; они, в сущности, заменяли как бы античный хор. Но его-то знали все, это сразу стало понятно по мгновенно стихшему, как только вошел, и тотчас начавшемуся снова, но уже в другой тональности, гуду голосов. Чертежи на панелях, каллиграфически выведенная тушью строка заглавных букв и чисел служили заголовком темы обсуждения — шифр, мощность в мегаваттах, выпадающие из привычных, «гладких» норм начальные параметры.

Викалевич выступил свободно, однажды даже, почти кокетливо опустив указку, прибег к излюбленному пояснению сказанного уж вовсе к делу не идущими, посторонними словами. Зал — и не столько «стол», сколько «окна» — отозвался недоуменным ворчанием, но академик Порохонцев постучал особенной, с жемчужным отливом авторучкой, открыто, поощрительно улыбнулся, и ворчание перешло в оживление.

Малых заикался очень редко, но — надо же! — застрял посередине длинноватого термина, дважды выдохнул, выкрикнул тот же слог, глотнул и залился краской, — тогда Александр Иванович, повернувшись вполупорот к нему, назвал его просто, дружески Сергеем Пафнутьевичем, улыбнулся еще шире, одобрительнее, — ну, конечно же, все всё поняли! — и Малых, взяв барьер, больше не заппулся до конца.

Один за другим подымались эксперты и посланцы тех

заводов, что должны стать поставщиками (все было организовано тщательно и обстоятельно), — у окон даже началось покашливание, скрип стульев — слишком уж как по маслу, — но вновь воцарялась строгая тишина под быстрым взглядом Порохонцева. В зале не курили, курил он один, по исконно подразумеваемой льготе (как в «Принце и нищем» рассказывается об одном-единственном человеке, кто мог сидеть в королевском присутствии). Дымил почти без передышки, зажигая сигарету от сигареты.

В общем, собрание, как принято выражаться в некоторых информационных сообщениях, работало нормально. Так что самому Виталию Константиновичу недолго потребовалось сводить концы с концами, кое в чем дополняя уже сказанное. Матовый световой столб к этому времени добрался до чертежей, залил их меловым гляncем и, ложась плашмя, достал лица говорящего. Он жмурился, чья-то рука предупредительно потянулась к шторе, он нетерпеливо отмахнулся. Дробно прокатились хлопки, провожая его на место, — аплодисменты не были в обиходе, люди серьезные...

И Порохонцев, вставши на своем председательском месте, лицом к залу, не к припшпленным чертежам, объявил себя верным поклонником таланта, «выдающегося таланта» Виталия Константиновича (иначе также не называя его, как по имени-отчеству). Отметил неповторимый почерк (попросив извинения за неакадемическую вольность определения) всех его работ, убедительнейший пример — последняя, вот эта, долгожданная (с чуть заметным упором на «долго»). «А точность сроков есть вежливость королей» — слегка видоизменил он известную поговорку, и зал, оценив шутку, ответил добродушным смешком, люди весело повернулись к Виталию Константиновичу: конечно же, только шутка!

— Нет, нет, перед нами не тот случай, совершенно не тот, когда было бы оправдано ставить всякое лыко в строку. Ведь ожидание наше с лихвой вознаграждено поразительным по новизне и смелости решением. А насколько велика сложность преодоленного, не мне объяснять компетентному собранию. Достаточно напомнить, что техническая мысль на заводах Стал-Лаваль в Швеции, швейцарских ББЦ-Зульцер, немецких Сименс-Шуккерт, Парсонса в Англии, американских Дженерал электрик и Вестингауз, Хитачи и Мицубиси в Японии, да, позволю себе заметить, и наших харьковских и ленинградских исследо-

вательских центров еще бьется над аналогичными проблемами. Клубком проблем. Вот почему для поразительного, повторю, решения их Виталием Константиновичем и возглавляемым им коллективом у меня возникает образ: рассеечение гордиева узла взмахом меча.

Прямой, высокий, он не сделал ни малейшего жеста, лишь немного приостановился, как бы представляя время взмаху...

— ...Мощность, мы полагали, — недостижимая в одном агрегате при такой компактности его, какую я, человек, выдавший виды, считал, положив руку на сердце, маловероятной в двигателях данного типа... Игрушечка! За счет чего? Тут логическая система, как сцепленные пальцы: с первого же шага, с той заданной высоты исходных параметров, именно благодаря которой...

Виталий Константинович кивнул. Именно. Дважды два. Но внешне то было едва ощутимое движение, даже сидящий рядом не заметил бы никакого кивка.

— Здесь мы заслушали представителей ведомств-заказчиков. Я лишь отдам должное Виталию Константиновичу, признав, что энергетика ожидает двигателя подобной мощности, при сжатости габаритов и простоте обслуживания, как манны... как хлеба насущного.

Зал с готовностью отзывался оживлением в нужных оратору местах. Что-что, а держать аудиторию академик Порохонцев умел! Так и случилось, что перелом в его льющейся речи Виталий Константинович вдруг ощутил даже не по ней самой, а по некоему отзвуку в зале. Да нет, не отзвуку: не было ни шевеления, ни шепота на ухо, ни ухмылок — серьезная тишина. А что-то переломилось. Словно вокруг зазябла пустота — оглядись, увидишь своими глазами, кожей почувствуешь ее сосущее прикосновение.

— ...Пусть я согласился бы с предъявленными расчетами, что вибрация на последней ступени уложится в нормы ГОСТа — с двойной амплитудой три-четыре сотых миллиметра. Но ведь это работа на пределе! И при идеальном выполнении всех узлов. При *идеальном*! Не в предположении ли, что мы с вами всемогущие боги? Ничтожные случайности, пустячные отклонения в том, что сойдет с заводского конвейера, — мы же не малые ребята! Или в режиме, в топливной системе... И готово: лавина катастрофических последствий! Я не устаю предостерегать в своих книгах, в устных выступлениях о рискованности

прямолинейных заключений от модели — реальной или только воображаемой — к готовому изделию, которому к тому же мы хотим вверить самый ответственный участок промышленного объекта, — с тысячами, возможно, живых людей — рабочих, техников, инженеров...

— ...Вы задаете начальную температуру — ну, не скажу — доменной печи или мартена, но не так уж далеко от последнего, не так уж далеко. Excusez du peu, как говаривал старик Тимирязев. Вполне понятна при этом обостренность ваших требований к сталям. Присадки хрома, никеля, молибдена, вольфрама, ванадия, редких, редчайших элементов. А что, если нам взять лист бумаги и подсчитать по-хозяйски, по-бухгалтерски — кредит-дебет — экономикку этой нашей установки? Вы предлагаете двойной футляр, внешний — из перлитных сплавов. Дешевле. Так делалось. Но не получим ли мы, в нашем конкретном случае, — он приостановился: это предвещало игривый оборот мысли, — не получим ли мы *кота в футляре* — именно беря во внимание особенности и характер данного кота? Я бы не побоялся, что и присадки спасут. Какое напряжение вы создаете во всех элементах машины! Кто гарантирует, что исключены перегрев, искривление, изуродование вала? Да вот: я прилежно вникал в только что выслушанные нами выступления мастеров стали. Они отнюдь не заверяют, что способны отвести все беды, отнюдь! (Даже оттенка такого, мучительно перебирая в памяти, Виталий Константинович не мог вспомнить в словах руководителя лаборатории жаропрочных сталей.)

— ...А ссылки на опытные данные... Мы не новички на белом свете. И не заблуждаемся, как же мало в практике каждого из нас действительно того, что можно бы не обинуясь назвать *experimentum crucis*. — Он будто начертил перед слушателями латинские литеры этих двух слов. И, снисходя, перевел: — Крестное испытание. А прочее — прочее опыт и толкование. Мой эксперимент, и я невольно толкую его в желаемую мною же сторону. Да, да, не оговорка — и я: чем же ваш покорный слуга лучше любого иного? И от скольких толкований потом — либо вежливоенько поправят тебя, либо сам протрешь глаза — да и откажешься с легким сердцем!

Но с глазами Виталия Константиновича именно в эту минуту что-то произошло. Он перестал видеть академика Александра Ивановича Порохонцева, его худое, аскетическое лицо, где не дрогнул ни один мускул; даже не знал

сейчас, как выглядит Порохонцев — спроси кто-нибудь, не сумел бы ответить. Но голос, будто смакующий течение льющейся речи, он слышал. «Энтальпия», — выговаривал голос. И это было неприятно, до ненавистности, Виталию Константиновичу, хотя он знал, что именно так правильно, а не «энтáльпия», как произносили обычно в научно-инженерной среде. Неприятна была и всем известная (над ней добродушно подтрунивали) любовь к произнесению речей, с любованием собственными доверительными интонациями в абсолютном убеждении, что никто не перебьёт, сколько бы ни говорил. Равно как и это исключительное право на курение, дымящаяся с краю пепельницы сигарета, пепел, сыплющийся на сукно.

— Простота простотой, только дело-то ведь тут весьма относительное. Какая простота? Извольте взглянуть, я дал себе труд подсчитать число деталей...

И как плакат, поднял, показал залу, взявши со стопки перед собой, плотный лист с крупно выписанной четырехзначной цифрой.

— Не очень-то проста простота!

Новый лист с другой стопки — между стопками жемчужно отливала толстая ручка — все в безупречном порядке, под рукой, наготове.

— А здесь, не угодно ли, — и знаменем поднял этот новый листок, — здесь, — повторил он, — результаты еще одной экспертизы, произведенной по моему настоянию. Товарищи оспаривают, что даже на поверхности трубопроводов удастся удержать температуру хотя бы на сколько-нибудь приемлемом уровне сорока восьми градусов. Да, и поверх изоляции: руку отдернешь. А теперь давайте пересчитаем нагрев на нормальную кубатуру машинного зала. Всегда думать о командирах наших машин, о рабочем человеке — святая заповедь машиностроителя! И как, еще спрошу, срабатывает у вас автомат безопасности? Как срабатывает? Надежность, гарантия? Стопроцентная? Должна быть двухсотпроцентная, сказал бы я, если бы допускала математика! У нас же у всех в памяти, что случилось в Хинкли Пойнте...

В Англии, в Хинкли Пойнте, разворотило мощный агрегат, один из шести на электростанции. Проломлена крыша, человеческие жертвы. Никто не установил причин.

— Даже отдаленная возможность подобного безуслово должна быть в корне исключена! Вот почему мы по-